

Борис БЕРНШТЕЙН

Леонид Столович, друг по жизни.

К осени 1947 года не вернулся из отпуска профессор Иеремия Исаевич Йоффе, основатель и глава отделения истории искусства исторического факультета Ленинградского университета. Он умер в возрасте 56 лет, на отдыхе в Булдури, в августе, ровно год спустя после публикации постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Мы, зеленые юнцы, только что ставшие второкурсниками, не понимали по-настоящему, к чему идет дело. Иеремия Исаевич, видно, видел перспективу куда яснее нас. Лаборантки кафедры таинственно шептали, что внезапная смерть, может быть, спасла его от худшего. Надвигалась ледяная зима идеологического террора.

У Йоффе тогда было двое аспирантов – Евгения Гуткина и Моисей Каган. Каждый из них мог – и хотел – претендовать на место наследника выдающегося и самобытного мыслителя об искусстве. Уже одно название самой знаменитой тогда книги Йоффе – «Синтетическая история искусства» (*синтетическая*, вы слышите?!) – чаровала наши души и, в их числе – душу автора этих строк, тогда более причастного музыке, нежели искусствам, которые он взялся изучать...

Форматы двух претендентов на престолонаследие были неравны, победил Каган, уже тогда читавший курс эстетики. Легко убедив нас, что именно эстетика рассматривает все семейство искусств *синтетически*, он вовлек интересантов в свой кружок эстетики. Туда же, на первые заседания кружка, явился пришелец с философского факультета, его звали Леня Столович. В дальнейшем мои интересы сдвинулись в сторону специального искусствознания, хотя и с неким теоретическим

привкусом; Леня, естественно, остался на философском фланге, но возникшие в кружке дружеские отношения от этого не пострадали.

Летом 1951 г. я окончил университет. Пролетарский интернационализм в стране Советов вступал тогда в высшую фазу озверелого антисемитизма. Об аспирантуре нечего было и думать, о работе по специальности тоже: меня немедленно выгнали из городского экскурсионного бюро, где я подрабатывал, будучи студентом; дворник дома на Лиговке, где я проживал, уже наведывался к нам, унюхав, что там ютится потенциальный тунеядец...

Я уехал в Таллинн в поисках работы – потому что Таллинн был близко и там жила знакомая семья Тамаркиных, у которых мне гостеприимно предоставили временный приют. Я оставлю в стороне увлекательную историю о невероятном и чудесном обретении половинной должности преподавателя истории искусства и эстетики в Художественном институте – ибо речь тут не обо мне, а о Леониде Столовиче. Но минимум информации о себе все же необходим. Я должен упомянуть, что в мою скромную педагогическую нагрузку входили лекции для русскоязычных студентов тартуского филиала института; дважды в месяц я ездил в Тарту и залпом, в течение двух дней, отдавал свой лекционный долг.

Леонид Столович тем временем доучивался на философском факультете и успешно его окончил – с той же невидимой для непосвященных, но хорошо различимой для начальства желтой звездой на лбу, которая препятствовала профессиональному использованию молодого философа, а в родном для него, но славном своей идеологической чистотой Ленинграде – и подавно. И молодой философ еврейской национальности кинулся в Тарту. Сыграл ли в этом какую-либо роль мой пример – я сейчас сказать не решаюсь. Я не один был такой квазиэмигрант в Эстонию. Сокурсник Столовича по философскому факультету, бежавший в Эстонию за два года до того, Рэм Блюм, уступил ему коротенький курс эстетики для университетских студентов-искусствоведов. Я сделал то же самое, уступив ему свой курс эстетики в

тартуском филиале нашего института – таким образом Леонид Столович получил статус «почасовика», пусть незавидный, но все же отличный от подозрительного статуса тунеядца, а также, простите уж за низменное, – некую зарплату, ненадежно предохранявшую от голодной смерти. Штатное место в университете он получил только два или три года спустя.

Пока что, однако, он писал кандидатскую диссертацию, которую защитил в 1955-м году. Такая была у Столовича замена аспирантуре.

Изложение дальнейших событий, чтобы быть понятным современному читателю, потребует дополнительных пояснений. Сообщение о том, что к концу 1950-х гг. в советской эстетике разгорелась дискуссия о природе эстетического, звучит сегодня невнятно, глубокий драматизм этого события никак не прочитывается. Подумаешь, скажет читатель, оснащенный поверхностной исторической памятью, и до того бывали дискуссии – философская, биологическая, языковедческая... Ну, еще одна.

Иное дело мы – «пятидесятники», которым предстояло стать шестидесятниками – мы и тогда понимали, и сейчас помним, что эстетическая дискуссия была другая.

Так называемые дискуссии сороковых-начала пятидесятых были разгромно-расстрельными: их затевали ради утверждения заранее наличной точки зрения в качестве единой и уничтожения всех прочих – вместе с разносчиками ошибочных взглядов: так была сведена к нулю отечественная биология, доведена до полной стерильности философия, собирались было загубить физику, да бомба очень была нужна...

Но эстетическая дискуссия развернулась уже после XX съезда и несла на себе печать переходного времени. Некоторые диспутанты, верные традиции, обвиняли своих оппонентов в смертных идеологических грехах, за которые еще недавно полагалась профессиональная и гражданская казнь, а то и кое-что поэкзистенциальней. Но время –

пусть со скрежетом – менялось. Попасть в эпицентр дискуссии все еще было опасно, но уже не смертельно, как-то обходилось...

В эпицентре дискуссии оказался молодой философ из Тарту Леонид Столович.

Чуть позднее эта интеллектуальная битва была окрещена дискуссией «природников» и «общественников». «Природники» исходили из простой догмы оципанного догола советского марксизма, твердившего, будто все объективно, а любая субъективность есть выдумка прислужников империализма. Помнится, после выхода в свет заключительных и безусловно маразматических трудов т. Сталина, посвященных экономическим проблемам социализма, в главном философском журнале страны появилась статья, где постулировалась неумолимая объективность эстетических законов. Я в то время был – признаюсь честно – вполне правоверным марксистом; тем не менее, даже я никак не мог взять в толк, о чем, собственно, твердит маститый автор...

Так вот, «природники» утверждали полную объективность эстетических качеств объекта: красота, по их мнению, является столь же неотъемлемым *природным* качеством вещи, как и ее размер, вес, окраска, короче – как ее химический состав и физические свойства. Очевидная, первобытно-наивная примитивность этой позиции сегодня не требует специальных пояснений. Но она тогда обладала одним ситуативным преимуществом: с марксистско-ленинской объективностью эстетических феноменов все было в порядке. «Природники» чувствовали себя гарантами незыблемости доктрины.

Леонид Столович нашел тонкий ход. Он не покушался на объективность эстетических аспектов реальности, но доказывал, что объективность эта – не природно, а социально обусловлена. Так появилась концепция «общественников»; ее разделили еще несколько эстетиков; один из них, весьма оборотистый, попытался даже выдать идеи Столовича за свои – это ли не первый знак признания? «Природники» увидели в идеях «общественников» покушение на сакральные принципы, но времена

были уже не столь кровавые и дискуссия продолжалась в нетрадиционных формах: единственно правильная позиция не восторжествовала, слабейшая сторона не была разгромлена, невыносимая концептуальная раздвоенность сохранялась. Я склонен видеть здесь некий симптом: эстетическая схизма кажется мне предшественницей и даже прообразом последующих расколов...

Между тем, размягчение отечественного философского и эстетического монолита продолжалось. Некоторые понятия, подходы и идеи, получившие признание в мировой мысли и не только отторгнутые мыслью советской, но как бы признанные у нас просто несуществующими, сделались предметом рассмотрения и обдумывания. Такие действия были невозможны без признания, что они, в конце концов, не противоречат марксистскому учению. Так в самом начале шестидесятых была введена в обиход философская теория ценностей, то-бишь аксиология. Сегодня в России без понятия ценностей не может обойтись ни один демагог, сам президент страны знает такое слово. Тогда же это было для нас магическим заклинанием, открывающим ослепительные теоретические дали. «Общественная» концепция Столовича была безусловно более всего распахнута в сторону аксиологического подхода – и метаморфоза, сделавшая его в дальнейшем одним из ведущих мыслителей именно в сфере аксиологии, была вполне закономерной. Развитию аксиологического подхода посвящены его наиболее зрелые и фундаментальные позднейшие труды...

Наша дружба была многослойной. Мы непременно виделись, когда я бывал в Тарту и когда он наезжал в Таллинн, встречались на семинарах, симпозиумах и конференциях, перезванивались... Мы, бывало, доверяли друг другу кое-что о сугубо личном, обсуждали быстро меняющиеся злобы дня, много беседовали о профессиональных проблемах, делились своими идеями и обсуждали чужие, а то, бывало, просто шутили за

рюмкой – жизнь есть жизнь... Встречи, то частые, то более редкие, неизменно сохраняли праздничную ауру.

Осознание себя евреем и соответствующие представления о своем месте в мире – вещи сложные и меняющие свой вид вместе с движением времени. Для меня первым по времени был аспект негативный: на третий день войны, в июне 1941-го, какие-то незнакомые мальчишки обозвали меня жидом. Не знаю, когда был подан первый сигнал Лене, но к моменту окончания университета ситуация была кристально ясной. Более того, стареющий диктатор торопился доделать то, что не успел завершить побежденный им Гитлер – переняв эстафету, он поспешно готовил окончательное решение наболевшего еврейского вопроса – хотя бы в пределах одной, отдельно взятой страны победившего социализма, а заодно уж не только в ней. И мы, евреи моего поколения, и я, и Ленья, чувствовали себя более всего евреями в качестве реальных и потенциальных жертв: мы уже получили за свое еврейство, а впереди маячило нечто темное, дикое, безнадежное, катастрофическое.

Гений всех народов, как известно, не успел реализовать историческую миссию. Это не значит, что антисемитизм был изгнан из тканей социалистического тела, отнюдь нет, но смертельный его вирус был ослаблен. Со временем открылась перспектива позитивного переживания своего еврейства. Крот истории рыл неторопливо и вслепую, но все же рыл...

В один прекрасный вечер июня 1967 г. мы с моим приятелем, московским художником, чья семья жила в Таллинне, ощутили настоятельную необходимость приобрести бутылку спиртного. Был воскресный вечер, магазины были закрыты, оставалась надежда на какой-нибудь бар. За углом, на улице Мююривахе, был ближайший. У заветной двери томилась очередь жаждущих. Нам удалось убедить очередь, что мы там сидеть не будем, нам бы купить бутылку. Очередь

нас поняла, художник зашел внутрь, я остался заложником. Очередь быстро ко мне присмотрелась, и один из жаждущих спросил меня – разумеется, по-эстонски: oled juut?¹

Было бы глупо отрицать очевидное. Olen küll², признался я.

Молодцы ребята! – вскричала очередь с редким единодушием.

Так я заработал незаслуженные дивиденды на израильской победе в Шестидневной войне. Но мы о Столовиче.

Он написал десятки книг, из которых я более всего ценю его работы по эстетике и философии. Но наибольшую популярность в народе заслужила книга, которая в сущности была не его. Это была антология еврейского юмора «Евреи шутят». Там было собраны и прокомментированы составителем еврейские анекдоты, традиционные шутки, остроумные изречения известных евреев; книга выдержала шесть изданий только на русском языке, не считая переводов... Мне кажется, что работа над этой книгой дала разнообразные ростки. С одной стороны, Столович-философ получил стимул поразмышлять о природе смешного – и в результате была написана об этом особая книга. А с другой (так мне кажется) – работа над этой книгой добавила нечто, укрепившее в нем чувство еврейской идентичности. В дальнейшем оно заметно усилилось.

Леня не был религиозен. Мы с ним обсуждали эти вещи. Он утверждал, что он – агностик. Это означало, что там – вон там - простирается область незнания. Мы не можем принимать решения относительно самого факта существования Элияху или Ваала, Осириса или Аллаха, Велеса или Зевса, равно как и относительно степени их участия в наших делах и судьбах. В этом месте рассудок должен умолкнуть, признав свою ограниченность. Поэтому то чувство еврейской идентичности, которое безусловно нарастало в поздние годы его жизни, не было религиозно окрашено. Это было простое и естественное чувство причастности к

¹ Ты еврей? (эст.)

² Да конечно (эст.)

общности, причастности к традициям, к наследию отцов, к зигзагам исторической судьбы. Возможно ли такое без полного погружения в иудаизм? Вот проблема, которую я не готов обсуждать. Думаю, что чувство причастности к национальному целому знает тысячи и тысячи индивидуальных вариантов и может быть по-разному окрашено.

Леонид Столович, оставаясь агностиком, принимал живое участие в жизни еврейской общины в независимой Эстонии. Это участие было обусловлено внутренней потребностью, своего рода категорическим императивом, если употребить знаменитую формулу любимого им Канта.

Мой отъезд в Америку сделал наше общение специфическим, но не менее интенсивным. Спасибо интернету, наша обширная переписка хранится в электронной памяти, и я не без ностальгии туда заглядываю.

Именно в эти годы, произошло нечто, о чем грех было бы не упомянуть.

Мне далеко не чужд был соблазн теоретизирования, хотя философской оснастки для такого дела мне нехватало. Но обстоятельства сложились так, что в мою преподавательскую нагрузку входил, помимо истории искусства, курс эстетики. Назывался он, естественно, курсом марксистско-ленинской – а то какой же еще? – эстетики и поначалу я искренне старался таковым его строить. Со временем, по мере взросления, курс менял конструкцию, становясь все более обзором истории мировой эстетической мысли и соответственно – обзором позиций, сложившихся к тому времени в отечественной эстетике. Обзор есть обзор, но свои симпатии и антипатии я от студентов не скрывал. Общение с другом – эстетиком и философом – в этом отношении было бесценным. Наши взгляды совпадали не всегда. На моей стороне было, возможно, лучшее знание истории и практики искусства, на его – философский кругозор. Тем увлекательней оказалась наша поздняя переписка – из двух отдаленных углов этого небольшого, в сущности, шара – и взаимное знакомство с поздними работами.

В этих поздних работах философ Столович пришел к мысли о необходимости парадоксального подхода, который он назвал «системным плюрализмом». Этот методологический ход оказался чрезвычайно созвучен моим собственным размышлениям, возникшим в ходе работы, уже здесь, в Калифорнии, над книгой о проблемах истории визуальных образов. Я предпочитал говорить об «антиномической логике», но дело не в обозначениях, неизбежно условных, а в сути: оказалось, что мы, начав с отдаленных стартовых позиций, двигались навстречу друг другу и успели притти к сходным выводам. Мы начали обсуждать в посланиях подобие наших подходов и это обсуждение обещало быть в высшей степени плодотворным. Не знаю, будет ли подхвачен и развит кем-нибудь этот подход, столько же применимый к описанию физического принципа дополнительности, как и эстетического феномена произведения искусства...

А жизнь конечна – даже если это жизнь талантливого, мудрого, живого и разностороннего ученого, каким был Леонид Столович. Тут эгалитарный принцип действует безотказно, без каких-либо исключений.

Я и сейчас еще иногда, случается, срываюсь написать Лёне несколько слов – и не сразу спохватываюсь...